

Вот и Устюгов решился таки пристроить родительский дом в руки надёжные. Нет, дом он не продал. Решил пустить людей, пусть поживут. Родственники дальние по весне погорели основательно, голову приклонить негде. Маются уже больше месяца с детишками по родным да знакомым. Всё одно чужой угол, разве дело. А дом родительский ещё ничего, из красного леса собран, крепкий. Ему руки да догляд, жить можно долго. Вот и

порешили на семейном совете в городе поступить так – отдать дом, пусть люди живут, обихаживают и своё потихоньку строят. И дом, глядишь, дольше протянет, глазами весёлыми на мир посмотрит.

На утро чувство беспокойства не покинуло Матвея. Тяжело ступали ноги его в сторону дома родительского от племянника, где ночевал старик. Он понимал, что идёт прощаться с отчим гнездом, возможно, надолго. Покосившиеся, но добротные ещё ворота, были заперты изнутри, калитка тоже была на замке. Открыв её, Матвей вошел во двор. Остановился на короткое время посередине и стал хозяйским взглядом всё оглядывать. Вроде, всё было на месте, как оставил с осени, так и стоит всё, дожидается хозяйской руки да глаза. Смотрит уже повеселевшими окнами да оконцами в душу его сейчас. Матвей прошёлся неторопливо по двору, приминая поднимающуюся везде буйно траву. Сначала заглянул в сарайчик и баню – всё было на месте, всё в ожидании жизни и движения. Затем подошёл к забору, что разделял двор и просторный сад. Он закурил и некоторое время стоял, облокотившись на почерневший от времени штакетник и с любовью смотрел на старые яблони.

Давно посадили они их с отцом, некоторые уже повымерзли, не выдержали суровых сибирских морозов, другие были подсажены вновь. Матвей тогда весной только с армии пришел. Ездили с другом на машине совхозной в военкомат на учёт становиться, вот он и прикупил в райцентре несколько уже распутившихся яблонек. Это были их первые плодоносящие деревца. Ничего, прижились. И вот уже десятки лет справно радуют яблоками не только родню, но и соседей. И сейчас было видно, что будет нынче добрый урожай, порадуят яблоками «старушки».

Докурив очередную папиросу, он вздохнул и направился наконец в дом.

Дочь наказывала прибрать, что нужно, чтобы перевезти потом в город, на дачу.

Что тут прибирать, что таскать старье туда-сюда. Здесь оно на месте, и вроде, всё нормально, смотрится прилично ещё. Пусть людям добрым всё останется. Ведь погорели родные напрочь, нет ничего своего. Селяне приносят, кто что может. Так что пусть пользуются и живут с богом.

«А вот это я пожалуй заберу,» – рассуждал про себя Матвей, увидев оставшиеся две небольшие рамки с фотографиями своих стариков и близких родственников. Он прошёлся по скрипучему полу в горницу и маленькую спальню, раздвинул везде занавески. В горнице открыл настежь у одного окна створки.

«Пусть свежий воздух войдёт, все протянет. Скоро родственники подойдут, посвежее будет», – рассудил Устюгов. Походив ещё немного по дому, Матвей снова вышел на двор.

Присев на старую, но крепкую скамью, на которой когда-то старики пристраивали на лето ручной сепаратор, он снова закурил, видно всё-таки волнение сказывалось.

Что-то ещё захотелось ему оставить на память о доме этом старом, о родителях, о времени, проведенном здесь и теперь безвозвратно ушедшем... И Матвей вдруг вспомнил, что лет пять назад он на чердак прибрал старинный самовар-ведёрник за ненадобностью,

так как ему подарили на заводе на какой-то юбилей электрический самовар и он всегда на лето привозил его в деревню. И сейчас он подумал: «А заберу-ка я раритет этот в город на дачу. Хорошая вещь, нужная, будем с соседями вечерами чай гонять».

По старой, но крепкой ещё лестнице он поднялся на крышу пристроенной веранды и кладовой. Осторожно прошёлся по крыше и открыл дверцу на чердак самого дома. Там было темновато, только лучи утреннего солнца через многочисленные дыры в крыше пронизывали сумрак, как шпагами. Кругом висели старые, заготовленные еще отцом для бани берёзовые веники, валенки разных размеров. Так и есть. Самовар виднелся в дальнем углу чердака, Матвей увидел его сразу. Был «старикан» в хорошем состоянии, правда, кое-где на потергостях почернел, да и сам от времени потускнел. У него не было одной ножки, вторая была сильно погнута. Зато две других надёжно держались на своих местах.

«Ничего, это поправимо, будет у меня сиять, как новый», – подумал про себя Устюгов. Тут же в углу он увидел свой старый патронташ с десятком гильз. Здесь же была небольшая разваленная стопка старых школьных учебников, выше на гвозде висел потрёпанный школьный портфель. Это был его портфель, ему когда-то купил в городе отец. В нем он носил в школу учебники все младшие классы. Матвей осторожно снял его с гвоздя, отряхнул с него пыль. Портфель был на застёжке, но легко открылся, словно им постоянно пользовались. Внутри портфеля были какие-то квитанции, несколько совершенно новых катушек с цветными нитками, какие-то вырезки из газет и журналов, баночка крема для обуви. Переложив себе в карман нитки и крем, он уже хотел бросить портфель к стопке учебников, но его что-то остановило. Он увидел ещё в одном отделе портфеля нетолстую тетрадочку в клеёночато́й твердой коричневой обложке. Сама обложка показалась Матвею какой-то необычной.

«Наверное, стихи сестрёнки старшей да секреты девичьи», – подумал Матвей и извлёк тетрадку из портфеля. Осторожно ударил ею о колено, чтобы отряхнуть от многолетней пыли. Открыв наугад страницу, он увидел совсем не девичий каллиграфический старательный, а необычный витиеватый, красивый и твёрдый мужской почерк. «Как писарь какой писал», – подумалось Устюгову. Просматривая дальше записи, он дважды натолкнулся на знакомые имена и странное обращение:

«Любезные родные мои, сестра и зять Григорий...»

Это сильно заинтриговало Матвея и он, взяв самовар и патронташ, поспешил спуститься на свет, на воздух.

Поставив самовар на травку, положил патронташ на скамью, Матвей сразу закурил и тут же снова взялся за тетрадку. Он открыл первую страничку, пробежал глазами несколько строк и сразу понял, что тетрадка-то эта тайная и касается его семьи, непростой давней семейной истории. Он понял, что это послание из прошлого, что это письмо одного из старших братьев его матери, что в двадцатых годах, после революции принимали участие в крестьянском восстании здесь в Сибири, потом бежали. Он слышал эту историю. Мать не раз её рассказывала, правда, без всяких подробностей. Уже став взрослым,

Матвей расспрашивал стариков сельчан. Его интересовало, а что же на самом деле случилось тогда лютой зимой и весной 1921 года здесь в приишимских краях. Как говорили старики, взбунтовали-то крестьяне не против власти, а супротив поборов грабительских, продрозверстки. Поднялся тогда народ-то по всей округе, повсеместно. Задавили-подавили, конечно, тогда мятеж тот быстро. А как же, сила-то была у государства. Крови и горя много было и память худая осталась. А вот некоторые тогда весной после смуты, кто семьями, кто в одиночку, путями разными подались в бега из краёв родных. Практически все так и потерялись на просторах державы огромной, сгинули где-то во времени неспокойном.

Часто домашние вспоминали своих близких, искать боялись, всё хотели весточку получить о них при жизни. А весточка-то, оказывается, была, и вот она сейчас в руках у Матвея Устюгова. Ждёт с нетерпением. Ждет, чтобы ударить правдой, рассказать ему сейчас о чём-то неизвестном, раскрыть тайну.

Закурился, он вновь открыл первую страницу этой загадочной тетради.

«Здравствуйте разлюбезные мои родные, сестра моя дорогая Клавдея, также зять наш дорогой Григорий Пантелеевич, дети также и родова вся наша. Знамо родителей наших уже нету в живых, время сколько прошло. Письмо шлёт вам и низко кланяется всем, сродственник ваш кровный Маслеников Петро Михайлович. Не знаю когда попадет писанина эта в руки ваши, дойдут ли слова мои о мытарствах и горестях наших, жизни безрадостной проклятой в краях далёких, на чужбине-стороне. Пишет всё это под мои рассказы и слёзы горькие, человек один хороший по прозвию Козьма-звонарь, из наших из православных, он из Костромы-города. Человек джоже грамотный, вместе уже давно при церкви нашей служим-кормимся, в Харбине, что в Китае-стране.

Знамо что писанину таку поштой не отправившь. Буду ждать можа аказия кака надёжна будет, с нею и отравлю, а то вить и вас всех потянут за связь с врагом-супротивником. А каки мы супротивники земле родной матушке. Вить всё могло по-другому оборотиться. Могли мы все жить-кормиться, да хозяйствовать на земле нашей. Да если бы сразу власти-то новые народные по-людски к крестьянину-мужику, да разве случилось бы побоище кроваво. Вить мы как кумекали умом-то своим. Трудно, чижало живётся в Рассеи. Мор, голод знамо штука сурьёзная. Дак ты к нам по-людски, по-христиански, объясни-растолкуй обстановку, обрисуй картину. Неужто мы нелюди каки, неужели не поймём. Завсегда выручали из беды, последним делились в горе-то. Дак нет, вить горлом стали брать, властью-силой сразу поперли. Вражина какой-то неправильно обрисовал специально обстановку начальству, что выше было... Ну и пошло. Да разве взялись бы мы за вилы, ружья, пошли бы супротив. Вить что учинили тогда. Подчистую все выгребать стали, утеали овец зимой лютой стричь наголо, как рекрута-перволетку. А потом и того краше, тулупы мужиковы и те стричь учинились. План вишь ли у них. А как семенно зерно-то стали выгребать, да разе тут стерпишь. Дале-то жить, кормиться как, пахать-сеять, детишков подымать. Вот и не стерпели мы тогда, взыграла кровь. Ох и всполыхнули тогда над Иши-

мом рекой зори алые да кровавые, вить и дале покатилося, даже казахи поднялись. Больно смотреть на зори те было, а апосля страшно. Вить ничего не добились мы, себе худо сделали. Осиротили и себя и детей своих без земли-родины оставили. Крепко поприжали нас, постреляли, да под лёд попускали. Много брата нашего по весне-то по рекам всплыло и понесло к морю-окияну со льдом вместе.

А кто цел остался, сорвались тогда на восток, а кто через казахов в Монголию, да Китай подались. Ох и помотала нас жисть, помотала. Где только не были, не ютились. Только приткнёшь головёнку-то, опять бежать надо. Так и жили как волки, всё в бегах. Загропили нас со всех сторон и с Сибири и с востоку. И выдавило, как чирью назревшую, как лимент ненужный в страну чужую Китай. Ох, и много тогда там калготилось брата нашего мастей и цветов всяческих...»

На этом Матвей прервал на время чтение. И глаза уже устали, и волнение к горлу подступать стало.

«Вот ведь судьба, вот как повернуться жизнь-то может в одночасье. Вот она новая жизнь-то как вставала, поднималась на ноги. На изломе, на крови!» – стал рассуждать про себя Матвей. Конечно, он знал историю своей страны, знал и непростые трагические ее страницы. Но эта тетрадь дыхла не него жарко тем временем, открыто поведала о боли, страданиях и метаниях его родных. Это ближе, понятнее и больнее.

Он снова закурил и несколько минут сидел в какой-то отрешённости, ни о чём не думая. Потом снова взял тетрадь и стал читать письмо-боль и исповедь дальше.

«А жёнку и детишков своих, любезные мои сродственники, – писал далее Петр Масленников, – я оставил тогда больных у людей хороших в Чите-городе, выправили за денгу им гуммаги други, стали они Кондратьевыми прозываться значить. И потерялись оне апосля где-то там в краю таёжном. Живы, али сгнули. Чижало было тогда, голодно, болезни свирепствовали.

Болел и я тогда долго, крепко держала за горло костлявая. Ладно братка Авдюша тогда к церкви-то нашей меня пристроил, там и выходили. Там и оклемался, свет Божий снова увидел, дале жить захотелось. А когда болезный совсем был, виделось всякое, не приведи Господи! То, как крадусь задворками вдоль плетня к дому своему. И всё цепляюсь, цепляюсь за хмель карабином. Так видно истосковался по запаху тому хмельному. А то виделись лошади наши. И так ластятся ко мне, нюхают, волосы теребят. То ржут и зубы скалят, да приговаривают: «Куда девался чолдон, на кого спокинул животину родну!»

А сейчас всё чаще хлев наш снится, где коровы да живность всяка. И запах тот словно чую. А вить нажито всё было горбом своим, на руках вскормлено.

Сгнуло всё в одночасье. Нету, ничего и никого нету. Одна память осталась и гложет и гложет, кончает совсем.

А ещё снится, что бросают нас всех в сани зимой. Тычками в спину ружьями пихают

и старых и малых. Холод лютой, метёт вкругом и везут нас на станцию. А я дорогой и убёг. Ушёл в метель, в падегу, но ушёл. А детишки-кровиночки остались. И всё руки ко мне тянут и тянут. Проснусь бывало, знаю, что не было такого со мной, а всё одно весь в поту и сам не свой. А сердце завсегда рвётся от неизвестности, от пустоты.

А братка-то мой, как меня выходил, дальше побежал судьбу пытаться-искать. Не поглянулось ему в китайской стороне. Уплыл он окияном-морем в страну далёку, не то Зеландия, не то Австралия прозываются, будь они неладны. Спокинул меня и не ведаю где он, живой ли?

Знаю, что война страшная была в Рассеи нашей, поредела матушка сильно. Чижало знамо и сейчас всем живётся. Однако дома вы, вместе все, а это легче. Всё можно пережить, вытерпеть. А нам вот закрыта дорога к дому родному, к погостам отчим. И уже никак не вырваться с чужбины... Хотя пытались многие и я тоже. А куда там. Вороги до конца вОрогами и останемся. Нет нам прощения всем, что родину спокинули, не повинились. Скажу одно, не сподличали многие из нас, не продали державу. Ни разу боле не взяли ружья, не стреляли в братьев своих.

И ещё пропишу. Теперь верно уже все знают про церкву нашу, что сгорела. А коль нет, правду скажу. Её родимую тогда Митька Изотов с чехом пришлым подпалили ироды. Они по пьянке нам в Иркутске признались. Чеха того мы с браткой сразу под горячу руку пристрелили, а Митьку избили до полусмерти. Знамо, за дело. Церква-то тут при чём, Божий дом вить. Грех-то какой, грех! А он вишь на Бога тогда осерчал, что заступничества с его стороны не было, произвол не укоратил.

Не ведаю, когда попадёт послание – слёзы мои в края родные. Можя я к тому времени и на свете уже значиться не буду, а чертям котлы в аду шпарить поставят. . Отмаюсь, отбегаюсь. Так-то не стар ещё, а вот душа выгорела, значить табак дело.

За сим прощаюсь со всеми. Прощения прошу за все и у вас и сторонки родной. Спытайте, может где и мои объявятся, кланяйтесь непременно. Глядишь, кто из детишков найдёт когда могилку отца своего непутёвого и заблудшего Петра Михайлова Масленикова в Харбине городе на кладбище церковном. Тута буду непременно.

За человека, что придет с аказией, не бойтесь. Свой человек, правильный. Будет он двигаться дальше в Рассею. Приютите, обогрейте по-божески. Ещё раз простите и прощайте. Дай Бог свидимся апосля на небесах».

Закрыв тетрадь, Матвей долго сидел и смотрел перед собой в землю. Пустота и тяжесть повязали его . Пусто было и на душе. И всё это от того, что нельзя ничего вернуть, нельзя поправить. Остаётся только помнить, крепко помнить.